

В. Померанцев

ОБ ИСКРЕННОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ

В предлагаемых ниже заметках нет исчерпывающего разрешения темы или стройности выводов. Здесь разрозненные, а частью, вероятно, и спорные мысли о некоторых недостатках нашей литературы. Но объединяются они той общей идеей, о которой говорит заголовок.

Искренности - вот чего, на мой взгляд, нехватает иным книгам и пьесам. И невольно задумываешься, как же быть искренним.

Неискренность - это не обязательно ложь. Неискренна и деланность вещи.

Когда мы читаем, например, стилизаторов, то остаётся неприятный осадок. Слишком много видим мы выисканных, подобранных, вычурных мыслей и слов, слишком напряженно следим за манерой письма, и поэтому его содержание остаётся за порогом сознания. Это вещи непростые, искусственно-сложные, и они угнетают читателя сегодняшних дней своей явной состроенностью.

Но вот я прочитал роман, в котором никакой стилизации нет, ибо нет стиля вообще, а оставляет этот роман после себя тот же холод, как после книг, где ощущаешь кокетство приёмами. Я имею в виду "Решающие годы" С. Болдырева. Тут деланность вещи выпирает не из манеры письма, а из надуманности персонажей и положений. Это, так сказать, другой способ конструирования романов и повестей.

Конечно, скука от книги С. Болдырева объясняется и литературной беспомощностью. Но основное её зло - в явной состроенности. На металлургических заводах страны, конечно, шла и идёт борьба за наибольшую производительность домен. Но борьба эта может стать фактом литературы лишь в случае, если в неё включаются мысли и чувства писателя. Вот этого-то в "Решающих годах" и нет. Здесь всё будто бы правильно и всё, с точки зрения художества, абсолютно неправильно. Души автора мы здесь не чувствуем, его собственных мыслей не узнаём. Мы читаем лишь слишком известное, не проникнутое эмоциональным началом, да ещё одобренное культом личности героя романа. Поэтому в людей этой книги не верится. Герой здесь - сверхгерой. Он замышлен, преднамерен, надуман, содеян. В романе нет, вероятно, греха ни против техники металлургии, ни против организации производства на домнах. В нём зато непростительный грех против искусства: он - роман деланный.

Всё, что по шаблону, всё, что не от автора, - это неискренне. Шаблон там, где не взгляделись, не вдумались. По шаблону идут, когда нет особых мыслей и чувств, а есть лишь желание стать автором.

Но в истории литературы художники стремились к исповеди, а не только к проповеди. Риторический роман исчез потому, что разноречил с естеством человека, которому уроки и доводы наскучивают со школьной скамьи. Наоборот, эпистолярный роман имел всеобщий успех оттого, что частное письмо казалось всего откровеннее. Когда читатель почувствовал, что письма составляются для него, а не для адресатов, когда это выродилось в распространённый приём, - эпистолярный роман потерял спрос и

исчез. Роман положений привлекал не столько их пестротой, сколько поведением героев во всех ситуациях. Театр прельщает наглядностью быта людей, не подозревающих, что я их наблюдаю. Поэтому они держатся сами собой. Когда автор неуклюже даёт мне понять, что живущие на сцене мужчины и женщины знают о моём пребывании в зале и говорят для меня, а не для других живущих на сцене людей, то мне уже неинтересно их наблюдать, а им - уже несвободно живётся. Я бы себя тоже чувствовал скверно, говорил бы и держался натянуто, если бы знал, что сосед повертел в моей стенке дыру, глазееет на меня и подслушивает.

История искусства и азы психологии вопиют против деланных романов и пьес. Степень искренности, то есть непосредственность вещи, должна быть первой меркой оценки. Искренность - основное слагаемое той суммы даров, которую мы именуем талантом. Искренность отличает: автора книги и пьесы от составителя книги и пьесы. Для состроения вещи достаточно ума, ловкости, опыта. Для создания вещи нужен талант, то есть в первую очередь искренность.

Искренности нет не только в шаблоне, и шаблон не худший из видов неискренности. Он отнимает действенность вещи и оставляет нас равнодушными, но ещё не порождает прямого неверия в литературное слово. Это происходит от другого вида неискренности, который назван у нас "лакировкой действительности". Порожден он не только ханжеством критики - в нём не меньше повинны и сами писатели. Пустил он глубокие корни и стал многообразен по способам.

Жизнь приукрашивается десятком приемов, и притом не всегда нарочитых. Они так крепко засели, что применяются некоторыми почти подсознательно, они стали, так сказать, манерой письма.

Как ни богаты приёмы лакировки действительности, проследить их всё же легко.

Наиболее грубый - измышление сплошного благополучия. Иную книжку прочтешь - вспомнишь тот затерявшийся в истории литературы период, когда действие романа происходило под солнцем неизвестной страны, а пейзажем служили лианы. Как от этих романов исходил аромат чудесных неведомых фруктов, так от ряда наших вещей вкусно пахнет пельменями. Наиболее явное зрительно-носовое ощущение дал этот неуклюжий приём в киносценариях, где люди банкетно, смачно, обильно, общеколхозно едят. Сценарии фильмов дали писатели, тон писателям давали подобные фильмы.

Приятель поспорил со мной: "Почему, - сказал он, - западное кино демонстрирует приёмы в богатых домах, обилие вин, красоту сервировки, а мы не можем показывать того же в наших условиях". Я ответил ему, что именно потому и не можем. Буржуазная литература и фильм намеренно переносят трудящихся в двухчасовую, красивую, неправдоподобную жизнь. Мы не должны это делать. А третий товарищ поправил меня. Он справедливо сказал, что неправдоподобие фильмов этого рода не в выдумке, а в отсутствии выдумки. Любой кадр кинохроники много больше говорит о нашем материальном богатстве, чем кадр художественного кинофильма. И кадр кинофильма лакируем мы потому, что не умеем выразить в нём правду из кадров киножурналов.

Приём такой лакировки наиболее обнажён, примитивен. Он сближает произведение литературы с тем пониманием слова "роман", когда оно было синонимом выдумки. Но зачем нам выдуманное благополучие, когда у нас есть завоёванное, подлинное, большое и капитальное! К счастью, показ жизни "через пельмени" уж слишком топорен, чтобы быть слишком распространённым.

Тоньше другой приём. Заливные поросята и жареные гуси не подаются, но и чёрный хлеб убирается. Так написана одна "производственная" повесть. Об общежитиях и

столовых завода, который подразумевался писателем, он ничего не сказал, а они были скверны. Серёжек и брошек автор ни на кого не навешивал, но всё дурное и скверное у него тоже отпало.

Третий приём умнее всех предыдущих. Он заключается в таком подборе сюжета, чтобы вся проблематика темы осталась вообще за бортом. Искажение тут - в произвольном отборе. По этому способу написана одна повесть о прокуроре. Волею автора герой посвящает все силы улаживанию размолвки влюблённых супругов. Он выглядит при этом тем благороднее, что вовсе не призван заниматься такими делами. Зато получается, что беззаконий, с которыми он обязан бороться, в районе нет вообще. А к автору не придерешься - у него-де свой определённый сюжет... Хотя и ловчее приём, а неискренность читатель всё равно: ощущает.

Откуда в нашу литературу могла проникнуть неискренность? Тут много причин. Известную роль, возможно, сыграло частое в людях стремление выдавать желаемое за уже существующее. Один неверно понял значение элемента романтики. Другой совершенно неверно представлял себе способы повышения жизнерадостности романов и пьес. Иной просто облегчал путь своих книг, устраняя из них всё спорное и неутверждённое, соскальзывая в житейский оппортунизм. Иного дезориентировала наша критика, оперировавшая пресловутым "не характерно!"

Руководство партии показало нам, как смешна и вредна угрюмая осторожность подобного рода. Выступления руководителей партии и правительства с критикой наших недостатков повышают творческую активность советских людей, поднимают их на борьбу за лучшую жизнь. Писателям нас возвышающий обман совершенно не нужен, ибо не низка, высока наша истина.

Писатели не только могут, а обязаны отбросить все приёмы, приемчики, способы обхода противоречивых и трудных вопросов. Долг литератора, получившего ясную программу движения нашей страны, - помогать ей именно в сложном. Нашей литературе нужны строители, а не профессиональные барды. Бард занимается воспеванием радости, а строитель её создаёт. Писатель, черпающий свой энтузиазм не из издательской кассы, а из наших великих достижений и великих программ, никогда не станет заглушать проблематику, а будет искать решения любой проблемы нашего сложного и самого интересного времени. Зачем нам идеализация, когда у нас есть и нами осуществляется сам идеал!

И все же... все же полная искренность - задача, которую каждый писатель должен разрешать сам для себя.

Нам нужна не всякая искренность. Писатель, как всякий живой человек, не избавлен от неправильных мыслей, от вкуса и оценок, рожденных данной минутой. Неподдельная искренность не есть ещё объективная истинность. Искренней может быть и самая субъективная мерка, преходящее мнение. А искренность, которая приводила бы к правде жизни, к правде партийной, - это не настроение. Такая искренность больше. Она обнимает и разум, и совесть, и склонность - многое, чего даже нельзя объяснить. Она требует напряжения, какого для неискренности или для настроения вовсе не нужно. Умысел прост, искренность всегда очень сложна.

Вот давний случай из дальнего места.

На должность следователя приехал в сельский район паренёк, только что кончивший вуз.

В районе был колхоз новосёлов. Расположился он на отшибе, в глухой лесной местности, за рядом озёр, где никто ещё не жил. Переселенцам отвели много земли, дали кредит, тягачи, освободили на несколько лет от налогов и поставок продуктов.

Хозяйствовали они только два года, но успели уже вызвать о себе противоречивые толки. Одни считали, что направление хозяйства взято неверное, что уж слишком добротнo строятся личные дома членов колхоза и новая деревня, ещё ничего не дав государству, уже выглядит "кулацкой заимкой". Другие, наоборот, восторгались энергией переселенцев, создавших на пустыре "деревню нового типа".

Районные руководители ездили к переселенцам не часто - добираться до них было трудно, а весною и осенью вообще невозможно. Путешествие в Новое приходилось совершать на своих на двоих, чередуя этот вид транспорта с лодочным. При этом бывало, что на одном из озёр лодки вдруг не оказывалось, что её угнал какой-нибудь своевольный рыбак, и тогда приходилось или ждать его возвращения, или самому возвращаться в район. Бездорожье между райцентром и Новым было таким абсолютным, что даже машины колхозу доставлялись в разобранном виде.

Председателем у переселенцев была женщина, прозванная в райцентре "бой-бабой". Коммунистка, но своевольная, она мало считалась с районным начальством и делала у себя, что хотела. Практичная, зубастая, умная, она изредка заявлялась в район, и тогда учреждениям вроде райзо и райпо приходилось круто и солоно. Эту председательшу в райцентре не очень любили.

Однажды о ней донёсся нехороший слухок. Она занималась будто бы такими делами, за которые полагается не только с работы снимать, но и судить. Этот слух надо было проверить, но действуя так, чтобы бой-баба не заподозрила за собой наблюдения. Прокурор решил направить в заозерье нового следователя, благо женщина никогда его не видала и он мог ей назваться счетоводом райзо, приехавшим помочь в постановке учёта. Парню велено было вообще присмотреться к колхозу свежим глазком, поглядеть, есть ли толк в освоении этого тяжелейшего места, и выполнить заодно поручения разных учреждений райцентра. Их надавал даже райздравотдел. В ту пору поездка в заозерье была экспедицией, и все ею пользовались.

Следователь в сопровождении конюха добирался до Нового четверо суток и всю дорогу волновался, справится ли он с этим первым заданием. Оно казалось то очень ответственным, то очень обидным. Брало сомнение, почему в заозерье отправили именно его, а не старого следователя. Не потому ли, что того больше ценили и не хотели отпускать на такое долгое время? Или же, наоборот, деликатное дело решили доверить именно вузовцу? Может быть, прокурор опасается, что старого хитрая баба перехитрила бы, и больше надеется на молодого? И парень всё время думал только о том, как доискаться, раскрыть преступление, как себя показать. Это был вопрос самолюбия.

Но эти мелкие, никчёмные мысли сменились по приходе в колхоз новыми и куда более важными.

Сменились после первых же разговоров с бой-бабой, оказавшейся вовсе не хитрой, а совершенно прямой.

Лет сорока, а то и побольше, мясистая, крупная, с грубоватым голосом и злым языком, но не злыми глазами на свежем, будто только что отпаренном в бане лице, она встретила парня с ухмылкой.

- Отважились добираться до нас? Ну, значит, быть вам Молоковым или Каманиным. А начальник-то ваш только дома перед женою герой. Третий год тут живём, а он и не был ни разу. Всё других заместо себя посылает. Ну, да мы не в накладе. Меньше начальников - меньше с ними ругни да возни. И то ведь сказать - чего им к нам ездить, когда с нас ещё

нечего взять. Они только там и гостюют, где заготовка идёт. А вы, значит, насчёт учёта проверить? Глядите, глядите - может, чего и проглянется вам. Только я сомневаюсь. Кабы и были воры у нас, им всё одно ещё нечего красть.

Деревенька парня ошеломила. Такой он ещё не видал. Подпёртая крепостной стеной высоченного чёрного леса, она глядела на бескрайнее озеро, а с боков её расстилались луга. Маленькое людское селение в этом девственном месте казалось не всамделишным, а нарисованным. И чистенькие, с резными узорами домики, пахнувшие свежим срубом и краской, были тоже игрушечными.

- Не с того начинаете, - сказал парень бой-бабе и счетоводу, водившим его по деревне. Сказал, чтобы сбросить с себя чарование и показать, что он тоже не лыком шит.

- А с чего ты сам на новых местах начинал? - пренебрежительно усмехнулась в ответ председательша. - Поделись, паря, опытом. Гость покраснел.

- Чужие слова не подбирай, - назидательно бросила женщина. - У вас там горазды болтать. А мы, видишь, село залагаем. Это тебе не сахар лизать. Тут со всего начинать надо вместе.

Следователь стал присматриваться к жизни переселенцев. Он ходил с ними на валку и распиловку, наблюдал, как клали стены и стелили полы неторопливые, но ловкие плотники - щуплые на вид, но большеукие мастера-старики, - тихо восхищался понимающими руками доярок.

- Уж Марья Никитишна подобрала народ! - одобрительно говорили колхозники о председателнице, рассказывая, как она с делегацией ездил из центра России за три тысячи вёрст выбирать новое место, как приглянулось ей "нежилое-непаханое" заозерье в безвестном краю, как отбирала людей для первой переселенческой партии.

- Освоите? - с сомнением спрашивали делегатов работники переселенческого отдела нового края, привезя их на этот кусок затерявшейся в миру благодати.

- Беру! - коротко, с засверкавшими глазами ответила Марья Никитишна.

Им не пришлось, правда, как некогда отцам и дедам, переселяться обозами, полгода плестись, губить в дороге коней и хворыми добираться до места, чтобы ковырять потом новую землю руками. Нет, они сели в поезд без панихид и без воя. Сдали на старом месте скот и зерно, сполна получили замену на новом. Им дали машины, пилы, резиновые сапоги, семена, планы засева, толкового животновода и пятерых комсомольцев из местных - мастаков и по тракторной и по девичьей части. Да, среди переселенцев преобладали безмужние женщины. Сама Марья Никитишна прогнала в своё время трёх мужиков и теперь тоже была не вдовой, не мужней. Жила она с дочкой и зятем, боявшимся её как огня... Но хоть и многое получили переселенцы, а всё-таки пни они корчевали руками и под небом тоже жили все четыре сезона первого года... Бой-баба решительно противилась постройке временных изб.

- Если понаделаем их, - уговаривала она поселенцев, - то так в них и останемся. А примаялись мы сюда не для того, чтобы подпираться дрючками. Раз мы *Новое*, так и жизнь должна пойти новая. Наша Россия к социализму идёт, и мы, гляди, уже вступим в него. А коли вступать, так надо в бревенчатых и с отдельными спальнями. Что можем мы отложить на потом? Отложить на потом можно только одну штукатурку. И вместе с коровником, птичником сразу появились первые домики. Следователь на каждом шагу ощущал хозяйственность и организационный талант председательши, хорошо понимавшей, как использовать необычное место.

На воде крякало множество уток... Несколько женщин возились у сепараторов... На берег причаливала лодка, полная рыбы... Рылись силосные ямы...

Первые впечатления были наилучшими, великолепными. Маленьким и незначительным показался его собственный труд сравнительно с этой стройкой и созиданием. Место было

прекрасное, но и труд тяжелейший, а бой-баба трудилась более всех, была всегда на ногах. До преступления теперь совсем не хотелось доискиваться, было даже досадно обмануться в бой-бабе.

Через несколько дней, против воли и неприметно, эти впечатления стали тускнеть, затеняться другими...

Может быть, это произошло оттого, что в делах счетовода не оказалось никаких документов на ряд машин и материалов в колхозе? Может быть, оттого, что со вспаханным на сепараторах маслом отправились в многодневный таинственный рейс два колхозника, которые должны были возвратиться с паклей и войлоком для утепления ферм? Или тут возымело значение обилие рыбы и отсутствие хлеба, чтобы её заедать? Или подействовали на настроение парня дожди, сменившие роскошные дни? Дожди пошли такие злые, холодные, безостановочные, озеро так вздыбилось и почернело, а люди и земля так намокли, что весь живописный и сказочный вид заозерья сразу исчез, и на месте его взялся до ужаса угрюмый и серый, в наказание людям придуманный угол земли.. Захотелось бежать...

Ночами, когда Новое тонуло во сне, парню казалось, что оно тонуло в воде. За окном без передышки хлестало, не видно было ни одного огонька, и всё выглядело так, будто следователь был заброшен на край света, на острова океана, у которых нет никакой связи с Большой землёй. Доползая отсюда назад до районного центра надо было почти столько же суток, сколько он ехал когда-то студентом в составе весёлой экскурсии из Иркутска в Москву... Дождь и ветер, поднимавшийся с озера, били по домам и вместе и врозь, устроили сообща шабаш ведьм, сменили все краски и цвета заозерья на одну только чёрную, сделали Новое жалким и от мира оторванным местом... Мысль селить здесь людей показалась неверной, их тяжёлый труд и красивые домики - муравьиной затеей, планы освоения заозерья - ненужными и безнадёжными... Эта мокрая, дождливая правда заступила другую, и он не знал теперь, что ему писать в докладной.

Потом небо, вылив всё, что имело, снова заулыбалось. Дни опять пошли сухие и тёплые, словно просили прощения за то, что дурили. Но вместе с восстановившейся прежней правдой неожиданно вскрылось и... преступление.

Докопался не следователь, а его конюх. И даже совсем не докапывался, а только выпил с плотниками два стакана и свалился.

- Откуда у плотников? - вскинулся сразу начальник.

- Председательша им выдаёт. У неё на дому. Поспешай, Михалыч, не обделит и тебя.

Бой-баба смутилась лишь на секунду.

- Ну, что ж! Коли проведаль, так получай. Заходи, не топчись...

Дочь работала на ферме, зять валил лес. Хозяйка была дома одна с шестилетней внучкой. Подала сковороду жареной рыбы, пошла в соседнюю комнату и вернулась с ведёрком.

- Погоди, процежу. Аппарат стоял тут же, у неё на квартире!

Всё было так просто, нескрываяемо, прямо, что не к месту показались Уголовный кодекс, составление акта, дремавшее в кармане удостоверение личности.

А бой-баба нацедила два стакана, положила на стол свои груди и заговорила о своём виноделии так спокойно, будто речь шла о погоде.

- Значит, и городских тянет, а? Хотя и аппараты у меня неказистые, и варим из чего ни возьми, и запаху уложить не умеем, а всё людям попробовать хочца. Такие уж дерьмовые горла у вас, мужиков. А вот я сама не охотница. Выпью с тобой для компании этот стаканчик, и не проси меня больше. И вкусу не вижу, и нутро не берёт. Только для надобностей колхоза гоню. Чтобы нам скорее на ноги встать. Знаешь, как я плотников по району понабрала?

Придешь к каждому, начнешь агитировать: "Работы тебе, дед, будет разгон и стаканчик в каждый обед. Здесь тебя сторожем держат, а у нас в первых людях будешь ходить и ложку станут подавать не сухой". Сильно в хозяйстве нам вино подсобляет. Этот вот лес наш тянется сорок пять вёрст, а за ним есть рыбацья деревня, прописанная по другому району. Там большие специалисты по лодкам живут. И бондарят они. Я - им, они - мне... Я, брат, везде побывала... Сильно нам в хозяйстве вино подсобляет. И так же спокойно добавила:

- У нас насчёт аппаратов постановление общего собрания было.

- Что-о?!

- Вот-те и что. Конечно, в тетрадь не подшили и в райисполком не представили, а промежду себя голоснули, как полагается. И на меня возложили. Знают, что не мужик, не сопьюсь, всё на дело пойдёт...

- Марья Никитишна, - нашёлся наконец неудачливый следователь, - понимаете ли, что вы преступление делаете, что за него можно в тюрьму угодить?

- Знаю, - ответила женщина. - Только я уродилась бесстрашная. Ответственность меня не пугает, а перед совестью своей я чиста. Почему государство самогон запрещает? Чтобы зерно не травили и от водки доход был. Ну, а мы лишнее зерно не расходуем, только потребляем его в жидком виде, и водке тоже никак не соперники, потому что её к нам не завозят. Ничего я, выходит, государству плохого не делаю. Глаза женщины были бесхитростно честны.

- И кабы тут водка была, - продолжала она, - начались бы всякие престолы, пьянки, невыходы. А теперь я контроль держу, регулирую полный порядок. Ты у нас хоть одного пьяного видел? То-то и есть! У нас вообще такого случая не было, чтобы человек на работу не вышел или норму испортил. Что в лесу, что на поле, на ферме - все планы наперёд исполняем. Зоотехник и агроном сюда приезжали - диву дивились. "Да ты, - говорят, - Марья Никитишна, уже следующей осенью будешь по десять центнеров брать!" А я отвечаю им: "Врете, меньше чем по четырнадцати не соберу".

Она кивнула на пачки брошюр в раскрытом шкафчике местной плотничьей выделки:

- Вон она, моя агрономия!

И вдруг засмеялась громко и грубо.

- Да и книжки-то здесь не нужны. Земля тут без книжек рождает. Вздрыбили её тракторами, расшевелили, ну и пошла! Ждала, чтоб дорваться. Мне потому и приглянулось местечко, что я его силу почуяла. Из переселенческого отдела инструктор всё упреждал: "Смотрите, - говорил, - место тяжёлое, потребует много трудов". А я ему: "Мы, дорогой товарищ, труда не боимся, коли он с толком. А из этой земли толк сам рвется наружу".

Гость сидел понурый, не зная, что ему делать.

После этого случая он не знал, что ему думать, что написать. Кто такая, в конце-концов, эта женщина? Пионер ли она новой жизни, талантливый вожак сотни крестьянских семейств или практичная и плутливая баба? Расчётливый и трезвый хозяин или оборотистый и ловкий хозяйственник? Корысть или любовь ею двигают? Деятель она или делец? На верной ли дороге первый колхоз заозерья?..

Он никогда раньше не знал, что из найденных и установленных фактов так трудно извлекать потом выводы, что правда так тяжело добывается. В годы учения всё было ясным. Тогда казалось, что следственная работа состоит в поисках данных и квалификации их по статьям Уголовного кодекса. Но первый же жизненный случай в кодекс не уместился.

Следователь шёл в заозерье, сильно волнуясь тем, как раскрыть. А когда без всяких усилий раскрылось, его это вовсе не радовало. Лучше бы не раскрывалось, не сбило ясности красивеньких домиков, не запутало образ бой-бабы.

Почему он не может решиться на вывод? Или он хлюпик интеллигентский?

Она гонит вино. Нужно этот факт заактивировать, наложить арест на аппарат - вещественное доказательство по уголовному делу. Нужно, конечно... Но для этих нужных и нехитростных действий прокурор мог послать в заозерье двух сержантов милиции. Следователя послали для более глубоких наблюдений и выводов.

В чём же должна состоять глубина? В том, чтобы не замечать преступления?... В то же время бой-баба примечательна вовсе не преступлениями.

Так перед следователем возникли проблемы. Разобраться в председателе Нового - значило определить что-то для себя самого. Разобраться в ней можно было, только разобравшись в себе.

Вечером, накануне ухода в райцентр, следователь пошёл искупаться. На берегу он застал возвратившуюся рыбачью бригаду, нескольких женщин и председательницу. Бой-баба молчаливо, качая головой, наблюдала за выгрузкой.

- Видишь, бухгалтер, что у нас делается? - сказала она недовольно. Следователь не понял её.

- По-моему, рыбы немало...

- Немало? - иронически переспросила она. - Да ты видишь ли, что лодка вся погрузилась? Борта только вершок над водой. Девать её некуда, рыбу-то! Подолами можно черпать. Одно безобразие!

Он снова не понял.

- Чего же тут безобразного?

- Чего? - повторила она уже зло. - А того, что олухи, дурни у вас там в районе сидят. Девять озёр пропадают! Калинин надо писать. Ни тебе лова, ни тебе транспорту... Весь район бы тут можно кормить... Прозванье одно, что коммунисты. Моя бы тут власть, я бы их, лежебоков-то ваших, из партии живо порасшвыряла. Секретарю говорю, а он мне: бюджет, мол, не позволяет. А бюджет-то, он тут, тут, - ткнула она жирным пальцем на озеро, - в воде он у вас, дурачье!

Все засмеялись.

- Не смешки тут, а слёзы! - окончательно рассердилась бой-баба. - Посмотришь, досада берёт. Бюджета им, видите, нет! Сами сидят на нём и плачут по нём. Да вытащите вы его из-под задницы, вот он и отыщется!

И обратилась к приезжему:

- Идём-ка, я тебе на прощание кой-чего покажу. Она решительно повела его от озера в какой-то сарайчик. Было темно, но следователь разглядел валявшуюся рыбу, кадки с мукой.

- Чуешь, чем заниматься приходится? - спросила бой-баба. - Сушим остатки, мелем её пороссятам. Как тебе это нравится? Заместо того, чтобы люди бы ели...

Из сарая она повела его в сторону леса.

- Ты расскажи это вашим начальникам, объясни, что творится. Я-то, конечно, как на ноги встанем, рыбой весь районный базар завалю, но только разве моё это дело? Тут на втором озере надо - рыбный колхоз создавать. Лодки выделять в общем масштабе. Самогоном я только четыре добыла. И думаешь, не найдётся в районе дурак, который мне их в строку поставит? Может найтись. Дураков-то хватает... А на третьем озере надо паром завести. И, главное дело, сыроварню открыть. У нас удой нынче был две восемьсот с головы. Сам видел, какие луга. Молоко везти невозможно - прокиснет. И лес нам самим тоже не дело разделявать. На первых порах - никуда не деваешься, а как дальше селиться начнут - так нужно впервоядь лесопилку. Прямо сейчас бы. Чтобы загодя пилить и сушить Я всё это

каждому в районе втолковывала и тебе говорю. Раз ты тут был, - объясняй теперь, пропагандируй. Чтобы вся наша география государству на службу пошла.

Она говорила ещё долго и много, выговаривая всё, чем жила и о чём помышляла.

На его докладную должно было прийти человек десять читателей. Тираж её был три экземпляра. Но, пытаясь составить её, он впервые за жизнь очень долго искал, что будет верно, что будет правильно. Он ничего не хотел сказать, кроме правды, но именно правда ему не давалась.

Докладную будут читать секретари, председатель райисполкома, райзо, прокурор, инструктора переселенческого отдела облисполкома. Это всё разные люди, и каждый станет искать в ней не то, что другой. Один вычитает одно, второй возьмёт на заметку совершенно иное. Прокурору совершенно достаточно самогоноварения. Начальник райземотдела выпишет цифры об урожае, удое. Заврайфинотделом будет интересоваться исполнением смет и расходом кредитов. Каждый вберёт в себя из докладной лишь близкое его кругу интересов и склонностям. Можно даже предвидеть, кто на какой из страниц улыбнётся или нахмурится. Секретарь райкома, например, нахмурится дважды - при описании коммерческих дел Марьи Никитишны и при описании пробелов в его собственном руководстве районом. Но разве секретарю и о секретаре нужно писать лишь такое, чтобы он улыбался? Нет, писать нужно честно. А честно писать - это значит не думать о выражении лиц высоких или невысоких читателей.

Надо равно писать о дурном и хорошем, и пусть себе начальники делают выводы. Впрочем... Нет, это тоже будет нечестностью. С перечнем фактов справился бы подлинный счетовод из райзо, а от следователя ожидаются выводы. Уклоняться от них... нет, это ему не к лицу.

Но выводы делать нельзя, потому что расходятся две разные правды и нет в сердце единства.

Прокурор торопил с докладной, а она не писалась. Несколько дней следователь не мог к ней приступить. Брался за карандаш, но не получалось. На пятый день начальник уже рассердился.

- Ну, сколько ты будешь тянуть?! Столько времени возился с одной самогонщицей, а теперь ещё с докладной канителишь. Надо кончать.

Вот тогда-то его взорвало. Тогда-то в сердце сразу появилось единство. Нет, бой-баба не самогонщица! И с нею нельзя кончать! Как так кончать, когда она только всё начинает! Рыба, лесопилка, паром...

В нём всё возмутилось. Это было, словно ему велели зарезать бой-бабу. Пырнуть ножиком из-за угла в тот самый момент, когда она, ничего не подозревая, уверенно шла по заозёрному краю, неся в своих мощных объятиях четырнадцать центнеров, дома и сыры. Нет, он сам бы себе опротивел, если бы свалил эту женщину с ног. Ни за что!

И сами собой нашлись вдруг слова для написанной в одну ночь докладной. В ней и не было раздела, который назывался бы "Выводы". Он был не нужен, так как каждая строчка дышала...

Он забыл, что блуждал три недели между множеством правд.

Пиши он под первым впечатлением от живописной земной благодати, докладная была бы искренней, но не правдивой. Пиши он её в дождливые ночи, когда заозерье казалось нестоящим, - докладная была бы искренней, но не правдивой. Теперь же пером вели не восторг, не уныние, не правда погоды, а правда какого-то крепкого чувства, переборовшего и солнце и слякоть, обнявшего всё. Это чувство было уверенностью. И такое чувство уже не разноречило с кодексом, с мыслью о долге, с идеей долга.

При чём тут статья Уголовного кодекса! Она говорит о самогоне, изготовляемом для **потребления**. А бой-баба изготовляет его для **поощрения**. Второй пункт статьи карает сбыт самогона с целью **личного обогащения**, а у бой-бабы - **общественное служение**. Всё это кодексом не предусмотрено. Это случай особый, как многое в жизни особо.

Дикий случай? Беспрецедентный? Да, но беспрецедентна и жизнь в заозерье. Беспрецедентна бой-баба.

И. раз случай особый - отнестись к нему надо тоже особо. Тут нужен голос более крепкий, чем бас председательши. Чтобы поняла она и склонилась. И всё!

Самогон и обмен масла на войлок - это не сущность бой-бабы. Это только какая-то неправильность в ней, как неправилен обмен веществ в её организме. Товарищи, отличите в бой-бабе временное от постоянного, не обманитесь наносом и примесью!

Мне подозрительно происхождение бочек, кадок, на которые не нашлось документов, и я подсчитал, что, помогая людям строить дома, колхоз сильно вылез из сметы. Но почему эти факты меня мало расстроили, почему моё возмущение стало уже неглубоким, а скорее официальным? Потому, очевидно, что это только боковые канавки возле прямой и широкой дороги этой женщины. Надо загрузить эти рвы, а не закрывать из-за них самый путь.

Акты можно составить. Но бой-бабу вы по актам не прочитаете. Эта женщина - совсем ещё не законченный текст. Она будет меняться со своим заозерьем. И сделает его краем осуществленных идей.

Некоторые её поступки дурны. Но, идя за нею, люди идут за хорошим. Нельзя таким способом карать её за дурное, чтобы отнять у заозерья хорошее.

Не в таких, быть может, словах, но именно так написана была докладная. Прокурор не принял её, назвал бредом, нашёл, что следователя в вузе переучили, и потребовал в суточный срок обвинительное заключение по уголовному делу. Руководитель района долго качал головой.

- Как же это вы, юрист, предлагаете не судить за преступление?

- У нас судят преступников, а не преступление.

- Значит, по-вашему, она не преступница?

- Нет.

- А кто же?

- Руководитель колхоза.

- Хорош руководитель!

- Какая есть. Для романа можно бы придумать другую, а в заозерье другой не имеется.

- Значит, если бы вам предоставлено было решать этот вопрос, вы бы её не снимали?

- Снять - это для неё не решение. Есть много других.

- Например?

- Например, пойти в заозерье, собрать там колхозников и сказать им: "Товарищи, не прибегайте к окольным путям добывания лодок, без которых вы не можете жить. Я пригнал вам сделанные райпромкомбинатом".

Руководитель района рассмеялся.

- Это вы, значит, уж в мой огород! А её, выходит, простить?

- Не то слово. Прощать не надо. Надо построить новосёлам прямую дорогу, чтобы окольные сделать ненужными.

- Если вы в таком духе будете работать у нас, то суду, пожалуй, работы уже не найдётся.

- Почему же? Он будет судить тех, кто расхищает наше добро, а не тех, кто иногда делает ошибки, думая его приумножить.

Приятель, который рассказывал мне этот эпизод своей молодости, теперь пишет книги. Но ему видится связь между ними и своим первым служебным заданием.

- После этого случая, - сказал он, - отношения с начальником настолько испортились, что я просил облпрокурора перевести меня в соседний район. Затем забран был в область. Потом перешёл на работу в печать, исшагал много дорог. В первые военные дни, уже офицером, встретил на улице Горького... кого бы ты думал? Бой-бабу! Она оказалась председателем райисполкома. Приезжала в отпуск столицу смотреть, и тут её застала война. Постарела, но с прежней горячей своей деловитостью рассказывала о преображении заозёрного края. Там уже было девять колхозов, гидростанция, налаженный быт. И когда она сказала: "Живём теперь правильно", - я подумал, как сам сделал правильно, отказавшись тогда сделать неправильное... Вот так бы и в книгах. Ведь и они расследуют поступки людей. И в них решаются судьбы... Искренность их должна тоже быть выношенной. Искренность их должна тоже быть мужественной... Не писать, пока не накалился... Знать, за что борешься... Не думать о прокурорах... Не выписывать выводы, но не допускать ни одной строчки бездыханной... Быть самостоятельным... И тогда моя правда сольется с нашей общей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАНДАРТА

У него разные фамилии, но их нельзя ни отличить, ни запомнить. Эти (фамилии известны управдомам и ближайшим знакомым, но не читателям книг, сходных друг с другом, как стеариновые свечки или дверные замки. Читать их неинтересно и трудно, как трудно съедать каждый день неизменные борщ и котлеты в безлюбовно руководимой столовой.

Удручающе одинаковы эти вязкие книги! В них стереотипны герои, тематика, начала, концы. Не книги, а близнецы - достаточно прочитать их одну-две, чтобы знать облик третьей. Всюду в них равно знакомые плоскости. Можно подумать, что производил их не человек, а конвейер. Прочитав первую, останешься к ней равнодушен, но от третьей почувствуешь себя уже оскорбленным. Человек говорит о книге "моя", а я переспрашиваю: "Ваша? А что же в ней вашего?"... И у меня завязался с ним разговор.

Он (обиженно). Чем же я хуже других, и чем другие лучше меня? В моей книге всё бесспорно и правильно.

Я. Чересчур уж бесспорно! Настолько бесспорно, что получается общее место. А общее место всегда безукоризненно правильно, но подменять им искусство неправильно. Вам такая диалектическая противоречивость понятна?

Он. Мне понятно, что вы позволяете себе называть общим местом мои политически чёткие формулы. Смотрите!.. Говорите, да не заговаривайтесь.

Я. Ваши формулы? Нет, вашими они вовсе не стали. Вы их переписываете и, значит, не вжились в них. Вы их присвоили, а не освоили. Будь это иначе, формулы стали бы для вас не шпаргалкой, а чувством. Чувство, в свою очередь, дало бы вам средства художественно осуществить любой замысел. Впрочем, что говорить с вами о замысле, когда у вас только умысел.

Он. Что это ещё за новая дерзость! Что значит умысел?

Я. Умысел в том, что вашей рукой водила не душа, а тщеславие. Умысел в том, что вы

пытаетесь выдать за повесть сплетение фактов и слов. Умысел в том, что вы производили пригонку своей книги к другим. В том, что...

Он. Подождите, подождите, вы уж больно напористы. Разве я виноват в том, что до меня на ту же тему и о тех же людях писали другие? Ведь герои-то у нас - носители общей идеи!

Я. Они у вас носятся с идеей, а не носят её. Им и сны снятся только последовательные. Нормальный сумбурный сон для них исключен. И как они между собой разговаривают! Тирадами, взятыми с радиоплёнки. Разве таким бывает людской разговор, разве льётся так речь человека, особенно когда круг собеседников состоит из двух человек!

Помните, как ваш герой дарит дочери часики, потому что поднялся его **жизненный уровень**?

Он - вытяжка из газетных столбцов - позабыл, что в семье никогда не поднимается жизненный уровень, а улучшается жизнь. Помните вашего механика из МТС, который мечтает с полюбившейся девушкой, как они вместе будут инвентарь ремонтировать? Неужели же он только для этого женится? Неужели и дома у него мастерская?!

Или шахтёр ваш, восклицающий: "Скорее бы применить удлиненные шпурь! Скорее кончился бы выходной день!" Где нашли вы такого крота, который всё время рвется под землю?!

Или речь персонажа в другой вашей повести, обращенная к жене, принесшей с фермы бидон молока! Так говорят лишь на митингах, в прокурорских речах по делам о хищениях, а не с глазу на глаз.

Я мог бы бесконечно приводить вам такие примеры и, в частности, из повестей, которые печатали в толстых журналах. Там обманываются новизной вашей фамилии, не чувствуя, что вы не новый, а старый-престарый. Носиться с идеей, оперировать большой идеей по маленьким поводам - значит принижать эту идею, не поднимать, а обеднять её.

Он. По маленьким поводам? А какие же ещё можно было выдумать поводы? Ведь я не эпоху обзирал, не бродил по векам, не говорил о народах, революциях, войнах, а всего только описывал одну деревеньку. Чего вы, в самом деле, хотите!

Я. Наконец-то вы себя выдали! Какое право имели вы писать о деревеньке, если она не была для вас центром вселенной, не поглощала все ваши мысли? Ведь деревня - место, далёкое ещё от благоустройства, а я вашего волнения об этом не вычитал. В вас нет злости ко злу, и я не узнал, как его вытравлять. У вас нет кругозора, и поэтому деревенька живёт лишь сегодняшним днём, выпадает из нашей эпохи. В вас нет биения пульса, отчего не пульсирует и в книге жизнь. Короче говоря, у вас ничего нет внутри...

Он. Ну, это уже переходит пределы! Допустим, моя книга не так хороша, но ваш тон ещё в десять раз хуже. И что за нелепая требовательность! Я ведь не собирался пролезть этой книжкой в гении, я ставил себе скромную, небольшую задачу.

Я. Да, задачи надо ставить себе по плечу. Но и в скромной задаче вы не смеете уходить от большого и трудного. Вы должны искать его для себя, а не бежать от него. Знаете, как надо писать книгу о людях одной деревеньки? Так, чтобы о ней прочитал весь земной шар.

Да, да, не приподнимайте удивлённо бровей. О крестьянах существует множество книг, и браться писать о них дальше надо уж с тем, чтобы новой книгой с новым освещением жизни открыть новый счёт. Другими словами, нельзя писать книгу, если вы не ощущаете её особую нужность, если не чувствуете себя **необходимым**, даже неизбежным в литературе.

Он. Значит, по-вашему, литература должна состоять только из гениев?

Я. Нет. Вероятнее всего, что книги-вехи вы не напишете и получится только рядовая. Но цель ваша должна быть большой, труд непрерывным, трактовка исчерпывающей, прицел - самым далёким. Иначе книга выйдет не рядовой, а трафаретной и серой. А трафаретные книги вредны стране. Я был недавно в сельском районе, где из числа библиотечных читателей

выбыло за год 7 человек. Когда библиотекарша, встретив на улице парня, спросила его, почему он перестал приходить к ней за книгами, тот ответил: "Я уже прочитал три романа. Ведь в них всё про то же..." Библиотека приобрела за год 45 новых читателей, и они перекрыли счёт выбывших. Но с писательского счёта выбывшие не могут быть сняты. Писателям надо осознать, что серые сходные книги дискредитируют литературу. Поэтому вам, писателям, нужен лозунг: **плохая книга хуже, чем никакая.**

Он. Да, всё это легко говорить. Попробовали бы вы сами писать...

Я. И попробуем, если нас сильно потянет. Не будем писать без внутренней тяги. Отчего ваша вещь лишена драматизма? Оттого, что вы сами его не испытывали. Да и откуда браться ему! **Ведь не деревня воодушевила вас на замысел книги, а желание фабрикации книги привело вас в деревню.** Когда писателей влекла к себе деревенская жизнь, когда их волновали проблемы села, то и книги их потом привлекали и волновали читателей.

Роман должен осветить неосвещенные стороны жизни, а вы ездите подбирать лексикон, эпизоды, узлы для завязки. Поэтому ваши сюжеты - только сюжетики, а выискиваемые вами конфликты - вообще не конфликты, а находки той слепой курицы, которая рада, когда ей тоже перепадает зерно. Это не конфликты, а лишь поединочки, так сказать - дуэли "для чести", с последующим примирением вялых противников. Поэтому я всегда понимаю, для чего служит вам такой-то диалог и такой-то пейзаж. Все ваши ходы - как на ладони. И пишете вы заранее так, что развязка может быть только одной. Расправляетесь со всеми проблемами, хотя знаете, что на деле они не устраняются, а остаются в быту. Вот это-то нас, читателей, раздражает особенно.

Убогость строения, быстрое распознавание фабулы, преднамеренность схемы, серость и вязкость оставляют нас **равнодушными** к книге, но универсализм ваших выходов из всех положений, достигаемый посредством лживой риторики, нас раздражает. Мы оскорбляемся этим обманым приёмом, сводящим на нет все идеи, проблемы и положения. Надо быть или легкомысленным или нечестным, чтобы во всех случаях, когда в нас, читателей, возникают тоска или горечь, когда с нами происходят перемены судьбы, - бить нас, беззащитных, пустыми, бессочными фразами. Это жестокость бесталантных людей.

Он. Ну, ладно, довольно! Отдерзились, и хватит. Теперь ваша очередь слушать меня. Пусть я сер, но и в том, что вы наговорили сейчас, **тоже нет ни одного нового слова.** Если я - производитель стандарта, то уж в ваших нападках наверняка нет свежих мыслей. Разговоры о серости и схематизме стали за короткое время таким же трафаретом и модой, как сами серые книги. Вы-то в домашнем кругу ругали меня уж давно, а критики, наскоро теперь поумнев, тоже успели в этом году **сделать ругню за стандарт тем же стандартом.** Они стали поучать меня, чтобы я вышел из круга, в который сами же и затолкнули.

Сознаюсь, что я был нечестен, пытаюсь отделаться от вас односложными стразами. Ведь в душе я с вами согласен... Но настоящие причины серости книг вам не известны. Многие вам не известно... Когда я воскликнул: "Попробовали бы сами писать!", то имел в виду не трудности творчества, а условия литературного быта. **Я старался писать применительно к критикам.**

Они уверяли, будто у них есть ваша доверенность, и, действуя от имени читателей, объявляли себя беспорочными, а меня - склонным ко всяким порокам. Я, по их мнению, всегда скудоумен, ошибаюсь при всякой попытке делать самостоятельный шаг, вечно нуждаюсь в выправлениях и выпрямлениях. Вот они и выпрямили меня до того, что вам претит моя прямолинейность. Хотя партия не раз одёргивала этих людей, приведших к воцарению штампа на сцене и в книгах, они всё-таки продолжали держаться за присвоенный титул знатоков жизненной правды и уверять, что для меня она - незнакомка, скрытая под паранджой.

Мне не оставалось другого, как прятаться от этих людей за горный комбайн, за домну, за

трактор. Трактор служил в моих повестях свахой и загсом, разводил и сводил, ссорил, утешал, примирял. Этот трактор никогда не был "Челябинцем" - тот делал на полях своё собственное великое дело и не занимался делом несвойственным, - нет этот трактор - мой критик. .

Как мне было не бояться его! Рецензий, которые выражали бы **мнения** и вели бы к живительным спорам, обо мне не писали. Были лишь **приговоры**. Меня или гладили по волосам или били по шее.

Издатели часто ориентировались тоже на критиков. Ко мне, к моей рукописи они относились всегда настороженно. Интересовались лишь тем, быть ли ей глаженной или побитой. Борясь с их сомнениями, я нёс рукопись простенькую и ровную, как бумазейный халат. Чтобы не было складок, прошив, нашивок, воланов, чтобы гладить было удобнее...

Впрочем, издатель у меня только один - "Советский писатель". Пробовал я в "Молодую гвардию" двинуться, но её интересовали лишь рукописи на молодёжную тему. Героем произведения тут должен быть покоритель миров, не достигший предельного комсомольского возраста. Сходил я тогда в Гослитиздат, Но оказалось, что там издают только классиков. Я не был в претензии - особое издательство для классиков нужно, но надо же и мне куда-то податься...

Вот я и делал себя столь, как вы определили, бесспорным, чтобы в "Советском писателе" не нашли у меня каких-либо "но". Ведь это не просто-втиснуться в издательский план! Он не из ёмких, хотя художественной литературы у нас выпускается множество. В толстых литературно-художественных журналах (их в Москве всего три) планы тоже забиты, как поезда дальнего следования. Перспективы напечататься там невелики. Поэтому ходить по редакциям не было смысла. Оставалось въезжать в журналы на тракторе. Трактор могуч, рычащ, грохотлив, авось оглушит... С ним не поспоришь, его не оттиснешь, он подомнет...

Вы спросите, почему не искал я другой способ транспорта, почему не обращался за ним в Союз советских писателей? Обращался, но это ничего не дало. Творческая секция Союза писателей может лишь рекомендовать, то есть ограничиться благим пожеланием. Ей предоставлен только совещательный, то есть ни для кого не обязательный голос. На собраниях же и вечерах - толкотня, болтовня или многочасовые доклады, отбрасывающие нас к одним и тем же исходным вопросам. В этих условиях не удивительно, что я топчусь в своих книгах на месте.

Неужели вы думаете, что я действительно охотно иду на риторику и только по своей ограниченности не вылезаю за надоевший круг тем?! Нет, риторика - это не я, это оппортунизм мой, безволие, слабость моя. Я позволял перестраховщикам поступать со мной по их усмотрению, я обкарнал себя в своих книгах.

Но успокойтесь. Атмосфера в редакциях начала прочищаться. На тракторах в последнее время уже не впускают. От приевшихся плоскостей иные редакторы морщатся теперь не меньше, чем вы. Это должно нас обоих взбодрить, и я подумываю о настоящих. вещах. Пройдут ещё годик-два - и вы их получите.

Я. Хочется верить. Но всё сказанное вами в своё оправдание мне сильно не нравится.

До сих пор я полагал, что если существо искусства актёра - становится тем, чем он не является, то существо искусства писателя состоит в противоположном таланте. Вашу слабость я не прощаю. И сомневаюсь, чтобы дело было лишь в ней и во внешних препятствиях.

Почему вся ваша горечь изливается на кого-то другого, а не на себя? Ведь книги-то пишете вы! Не служит ли ваш гнев по адресу прочих людей той отдушиной, в которую изливается внутренняя неудовлетворённость собой?

Что бы вы делали, если бы не было критиков? Кого бы винили тогда в своей серости и

беспроblemности? Ведь не можете вы не сознавать, что в конечном-то счёте творчество определяется не рецензентами и не обстановкой в Союзе писателей, оно определяется вами.

Плохой вы писатель, если постоянно к кому-то приспосабливаетесь. И хоть много тяжёлых грехов на душе наших критиков, я не помню, чтобы они от вас требовали: "Пишите плохо, пишите неинтересно!"

Что касается аппарата Союза писателей, творческих секций и прочего, - то какое мне, читателю, дело до всех этих дел! Неправильно сложилась обстановка в союзе? Ну, так измените её. Я только боюсь, что в вашем союзе каждый считает плохим нынешний порядок вещей, но никто не знает, каким должен быть лучший. И мне не понять, почему это мешает вам интересно писать. Я слышал, что Шекспир вообще не был членом союза, а неплохо писал.

И кто вам поверит, будто хорошая, интересная книга не пробьёт себе у нас дорогу в печать? Это может утверждать лишь обиженный, чья рукопись не нашла одобрения вне собственной семьи, и знакомых. А я отрицаю ваш навет на редакторов и издателей. Они - не особый слой противостоящих писательскому миру людей, а ваши же братья-писатели. Как правило, они коммунисты. С чего же они будут ставить препоны стоящим книгам и выбирать для издания серые?!

А если даже такой редактор найдётся? Разве он для вас единоличный судья? Ведь это не так. Можно признать, что есть среди писателей люди, не радующиеся чужому успеху, опасаясь, что он их затенит, оттеснит.

Но нет ведь и автора, который не добился бы обсуждения отвергнутой книги в других журналах, другими редакторами, другими инстанциями Союза писателей.

Нет, всё сказанное вами в своё оправдание для меня неубедительно. Вряд ли появлению настоящих вещей мешали препоны. Скорее всего, вы таких вещей не писали. Вы спешили по журналам, театрам, издательствам, наскоро отхватывая романы и пьесы... Знали ли вы, какие определённые ценности хотите защитить очередным новым романом? Читали ли свои рукописи десяткам разных людей, напряженно проверяя по лицам, - сопереживают ли люди, перенесли ли вы их в ваш собственный мир? Спрашивали ли своих слушателей, что они возненавидели и что полюбили, что им хочется делать после возвращения из книги домой? Было ли у вас ощущение такой же нужности вашего романа для человека, как нужны ему еда и пальто? Считали ли вы свой роман о людях деревни тем . новым окном, через которое она теперь будет виднее?.. Нет, ничего этого вы, вероятно, не делали, не считали, не думали. Иначе вы не свели бы разговор к редакторам и к союзу, не мельчили большую и важную тему. Настоящий писатель, мне кажется, всегда найдёт себе дело по росту, а ненастоящему не поможет никакое устройство Союза писателей.

Я недоволен машинным грохотом в литературе, однообразием тем, пафосом беспорывных стихов. Мне нужно больше книг серьёзных и тёплых. Но я не уверен, что "прочищенная атмосфера" в редакциях утолит эту злую тоску.

Целая подборка стихов о любви, обрушенная на меня "Литературной газетой", прозвучала новой угрозой. Не будет ли назойливый шёпот влюблённых раздражать меня так же, как оглушал до сих пор трактор? И я вовсе не хочу, чтобы трактор вообще отшумел в литературе, потому что он - неременная часть нашей жизни, а не только пейзажа полей. Не хочу быть перенесённым из цеха в скучную тишь, из одного экзотического мира в противоположный, но вновь экзотический. Не шарахайся в стороны, товарищ писатель! Иначе ты опять утратишь связь со мною, читателем.

Я хочу, чтобы тоска моя, жажда моя по большому правдивому слову тебя подняла... Ни в каком случае не производи "переоценку ценностей", не думай, что, например, ценность любви должна заступить для меня ценность труда. Но решительно измени, пересмотри,

улучши твоё отношение ко мне как человеку... Ни от чего не отрекайся во мне, ничего мне не навязывай и ищи новый синтез, центром которого стал бы я, мой труд, мои думы и всё то в моём жизнеощущении, чего сам я не знаю и что новые высоты тебе помогут открыть. А главное, поднимай меня к себе на эти высоты, чтобы мир стал мне виднее.

И будешь тогда не сер, а многокрасочен, и творческий урожай твой будет велик, и люди будут ловить твоё слово и - кто знает! - может быть, возьмут тебя с собой в коммунизм.

О ЧЕРТАХ ТВОРЧЕСТВА И О ЧЕРТАХ НАШИХ КРИТИКОВ

Плохо, когда от критика исходят не звуки, а отзвуки. Плохо, когда он ничего не подсказывает, а сам ожидает подсказа. Плохо, когда он не открывает имён, а лишь популяризирует те, что дают ему.

Популяризация у нас происходила, как правило, без проникновения в суть самих вещей. Статьи, следовавшие за присуждением званий лауреатов Сталинской премии, обычно представляли собой только перечни, а не обзоры литературы. Они даже отдаленно не походили на ежегодные "обозрения" Белинского, являвшиеся вехами на литературном пути.

Самое развитие критики шло причудливым образом. Она вырабатывала свои положения не в итоге постоянных вдумчивых наблюдений и синтезов, а от случая к случаю, когда отдельные писатели впадали в ошибки и партийная печать подвергала их критике.

Некоторые же критики сделали поиск ошибок у писателей или собратьев по критике чем-то вроде своей специальности. Это профессиональные разоблачители, строчкопыты, вскрыватели. Они не указывают, как писать правильно, но всегда знают, где что неправильно.

Приёмы многих критиков неверны методически. Пусь это утверждение покажется парадоксальным, но приёмы у них преобладали импрессионистские.

Если в рассказе или романе попадались интимные бытовые детали, например любовные, критики сейчас же крестили это натурализмом, но не видели, что самоцельное описание производственной техники было тоже натурализмом чистейшего вида.

Задача критика не только в том, чтобы раскрыть патриотизм писателя и актуальность освещенной им темы. Критик должен оценить роль книги в литературе, сказать, что нового вносит она сравнительно с прежними. Мы хотим узнавать от него, что пришло с этой книгой и что пойдёт от неё. Нас интересует, какую проводит она борозду, где оставляет свой след, на что налагает печать. Вот на эти основные вопросы критик не отвечает, оставляя нас в полном тумане. Мы знаем имена многих писателей, знаем их книги, но вовсе не знаем, чем обязана им литература, что они дали ей. Избегается даже необходимый элемент подлинной критики - сравнение творчества. Это дезориентирует.

Когда появились романы С. Бабаевского, то я не узнал из них чего-либо такого, что не было бы раньше известно по однотемным книжкам и очеркам и даже просто из газетных статей. Открытий они, на мой взгляд, не содержали. Я не понял, почему критики так безудержно хвалят эти книги.

Затем вышла "Жатва" Г. Николаевой. В свете развёрнутой теперь перед нами программы подъёма сельского хозяйства страны книге Г. Николаевой можно сделать ряд очень серьёзных упрёков. Но роман этот куда многопланнее книг С. Бабаевского, его конфликты несравнимо серьёзнее, характеры подлиннее, и в книге есть обаяние. Однако критики **приплюсовали** Г. Николаеву к С. Бабаевскому, и своеобразие "Жатвы" я от них не узнал.

Теперь я прочитал "Районные будни" Валентина Овечкина. Если даже подойти к ним плоско-утилитарно, то и тогда очевидно, что они содержат множество важных открытий. Овечкин говорит нам про вещи, о которых ещё не писалось. До него эти вещи обходились, замалчивались. Одни писатели вообще не видали их, другие считали их подлежащими только ведению высших инстанций и не решались без согласования о них говорить. А этот взял, да и

заговорил в помощь высшим инстанциям!

И тут-то я понял, что до Овечкина во многих книгах по колхозной тематике всё было затёрто-притёрто, острия все отпилены, углы пообломаны. Я понял, что Тутаринов (**герой Бабаевского - И.И.**) преодолевал препятствия лёгкие, подлинно сложными проблемами жизни села не занимался и даже не видел их. Он выглядит сегодня не столько героем, сколько ангелочком на куличе. Славой он, как цветным маком, обсыпан, а лизнёшь его - и растает. Наоборот, герои Овечкина - это искатели. Они глаза открывают. Политику делают. У них не только своя мысль не связана, но и нашу они ещё пробуждают. Писатель проясняет нам жизнь, изменяет её. И после этого мы ощущаем, что жизнь переросла роман С. Бабаевского, а эмоционально тонким персонажам Г. Николаевой нехватает того поиска мыслей, тех находок и неожиданностей, которыми нас всё время удивляет Овечкин.

Вот к чему приводит элементарный, обязательный, но перекрытый почему-то слагбаумом путь сравнений нескольких книг!

Да, сказал мне приятель, но литература не может всегда быть такой прямолинейной. "Районные будни" - очерки, а не роман. В этом жанре легче брать быка за рога.

Жанр!

Но, *во-первых*, не всякий писатель умещается в жанр, и "Районные будни" - не очерки обычного типа. "Гости в Стукачах" того же Овечкина написаны в жанре рассказа, но количество мыслей от этого вовсе не снизилось, а вместе с красками выросло. Яркую речь деда-сторожа вы невольно прочитаете несколько раз, и она западает вам в память, потому что вместе с метафорами запечатлелись и мысли. Очерк! Нет, художественная публицистика Валентина Овечкина куда ближе к искусству, чем иное искусство к публицистике, заслуживающей именоваться художественной.

Во-вторых, дело вовсе не в том, чтобы брать быка за рога. Ведь хозяйственные соображения об МТС и колхозах Овечкин мог сообщить докладной запиской в ЦК. Но они справедливо сделались литературной темой, когда за ними читатель увидел живых трактористов, комбайнеров и районных партийных работников, услышал переливы их голосов, почувствовал в этих людях биение непрестанно ищущей мысли.

Именно новые **мысли** волнуют нас в этой книжке. Поэтому-то мы и ездим с Овечиным, ищем, поражаемся, решаем и думаем, чтобы снова решать. Мы недовольны, когда Овечкин высаживает нас из мартыновской брички и не позволяет дознаться во всём до конца. Но если мы вместе не доискались, то станем додумывать сами. Пусть Овечкин не резюмирует - наша мысль уж разбужена.

Возя нас по району, Овечкин невольно, без всякого умысла, заставил потускнеть и поблёкнуть председателей колхозов из кубанской станицы. Мы почувствовали предельные линии романа о них, отсутствие в нём проблематики. Читая его, нам не о чем было задумываться.

Разве не святая обязанность критики сказать обо всём этом читателям и литераторам?

Я не видел в глаза ни В. Овечкина, ни С. Бабаевского, но мне ясно, что В. Овечкин должен быть так же приближен к читателю, как С. Бабаевский - к методу поисков, которым идёт В. Овечкин. Но критика складывает наших писателей в "золотой фонд", а не сравнивает, не противопоставляет, не сводит.

И среди самой пишущей братии находятся подчас такие странные люди, что даже молят не сравнивать их. Я слышал однажды выступление поэта, сказавшего: "Мы свою славу сами поделим, пусть нас не ссорят..." Но разве слава распределяется, как конфеты между детьми, - чтобы никого не обидеть? Разве дело в честолюбиях и самолюбиях, а не в установлении истин, без которых невозможно продвигаться вперёд? И разве поэты не знают, что в литературе, как во всяком искусстве, важны различия и только различия, а вовсе не

общность! (Общность коммунистического мировоззрения сама собой подразумевается, и особых оговорок об этом не требуется.)

Основоположники марксизма противопоставляли драмы Шекспира и Шиллера. Белинский противопоставлял Пушкина другим современным поэтам и вообще каждому отводил определённое место, с которого, кстати, последующая история никого не передвинула. А наши критики, боясь кого-то обидеть, оставляют читателей в полном неведении о том, кто и что внёс в нашу литературу и чем писатели между собой различаются. И подумать только, по каким мелким поводам создаём мы великий хаос в головах!

Впрочем, дело не в одной боязливости. Немалую роль играет, вероятно, и лень. Написать о книжке как таковой куда легче, чем проследить её значимость на пути творчества автора, а тем паче в развитии темы или данного жанра. Тут уже надо систематически наблюдать, изучать, обобщать. И писатели остаются в неведении об их собственной сути, об их силах и слабостях.

У меня есть приятель. Ещё крестьянским пареньком он писал душевные, искренние, но в ту пору, конечно, не мастерские стихи. Теперь он армейский политработник. Воениздат выпустил книжку его военных рассказов. Её похвалили. Похвалили так, что дезориентировали молодого писателя. Будь рецензент эрудирован, основателен, честен, он прежде всего спросил бы себя, что нового даёт эта книжка. И ответил бы: по содержанию своему, по сюжетам ничего не даёт. Он установил бы, что все новеллы повторяют эпизоды войны, содержащиеся у Алексея Толстого, Казакевича, Бубеннова и Гончара. Он указал бы автору на несамостоятельность отбора сюжетов. И в то же время критик не мог бы не почувствовать, что эта сто первая книга о людях войны читается, как первая книга. Боевые её эпизоды мало волнуют, но вот настроения и думы солдатские описаны с неподдельной душевной силой, будоражат, тревожат, зовут. Это действие производится книгой благодаря её языку. Местами он прямо чарует. Слово у автора, будто ласка, обдаёт теплотой всё, к чему прикасается. В этих словах нет ни пестроты, ни натужности, они стоят в каждой фразе прочно и легко, как деревья в саду, они звучат то радостной, то грустной лирикой и придают давно слышанному рассказу значительность. Фразы здесь не запылённые, словарь не пустой. Тут подлинный поэтический дар.

Рецензент, однако, не потрудился заглянуть в общеизвестные романы на военную тему. Не потрудился и выяснить, в чём отличие нового автора. И направил его своей рецензией на ложный путь поисков эффектов, коллизий и драм. А надо было сказать: не ищи и не описывай их, твоя сила в другом, ты лирик, поэт, человек мягких тонов, писатель душевных движений, а не трагедийных событий. Не мечись, будь собою. Ты, вероятно, ещё не весь в этой книге, в тебе чуются залежи большой доброты, чувствуется много тепла и дар изливать его. Так не обманывайся же, иди своей дорогой, иначе тебя ждут разочарования. Неудачи с несвойственными тебе темой и жанром могут зародить представление, что твои творческие силы иссякли после первой же книги. А это будет неверно.

Великое дело - разбирать первую книгу писателя! Всё равно, что сыну советовать, в какой вуз ему подаваться. Самым совестливым из критиков надо поручать это дело.

Но когда автор выпускает даже четвёртую книгу, мотив его творчества от критика всё равно ускользает. Ведь сказать о писателе, что книги его характерны патриотическим чувством, любовью к народу и верой в завтрашний день - значит не сказать ничего. Эти чувства и вера присущи подавляющему большинству советских людей, они в нашей натуре. Без них писатель вообще невозможен. Они не являются признаком и метой писательской личности. А именно эти-то меты и надо искать. Они обязательно есть у любого поэта, если только он не вовсе бездарен.

Я подхожу к полке старых, облупившихся книг. Хоть время и съело тиснение, все корешки

знакомы с первого взгляда. Кольцов, Никитин, Фет, Тютчев, Майков... С каждым сразу соединяется ощущение чего-то особого. Нет книжки в этом ряду, с которой не ассоциировался бы свой собственный мир представлений!

Но разве ассоциации навеяны только самими стихами? Разве не сложились они ещё от того, что предисловия, хрестоматии, мемуары, а главное, историки литературы и критики растолковали мне за многие годы и позволили различить все имена?

Я перехожу к другим полкам, к двадцатому веку, к "ничевокам" всех толков. Какая обширнейшая литература! Вряд ли когда-нибудь в этом смешении нигилизма и изощрённых словесных изысков люди будут что-нибудь искать для себя. Тут не видится элементов, которые понадобилось бы в дальнейшем извлечь. Но сколько было потуг, чтобы придать значимость мнимым вещам! Как много эти направленьица, теченьица, школки себя толковали! Сколько места занимают на полках их критики и публицисты! Это надо бы снести букинистам, да, кажется, не берут букинисты...

Наконец, я у полки поэтов послереволюционного времени. И утомляю себя здесь многими "разве". Разве мало поэтов сегодняшних дней не уступает по таланту поэтам, доставшимся нам от вчерашнего дня?

Разве нет у них своих тем, своего языка, своих предметов любви, своего напеваемого смысла в стихах? Разве на том, что они написали, нет их дактилоскопических линий, узоров, печатки и герба? Разве нет в их лирике того *"неразумного, как необъяснённого ещё рассудком разумного"*, что, по утверждению Гёте, является признаком настоящей поэзии? Но никто ничего этого не проследил. Поэтов у нас отделяют лишь запятые.

Иначе говоря, критика не изучает черт творчества наших писателей. Почему? Может быть, потому, что они ещё не мертвы? Но имя вписывается в историю литературы при жизни. Такая история складывается в каждой стране именно усилием критики. Многие старые писатели были бы незаконно забыты, если бы критика не уберегла их. Наши же критики боятся вписывать современных советских писателей в литературу, боятся передавать в завтрашний день, боятся зачёркивать тех, кто вознесён ввысь на бумажном планёре и держится ветром или верёвочкой.

Прошу понять меня правильно: речь идёт не о создании литературных высочеств, не об отборе в бессмертие, не о приговорах без права кассации, а об изучении черт творчества наших писателей, их роли в движении литературы - и о правде при этом.

Наконец, нас сильно дезориентируют многие критики схоластической, совершенно не марксистской трактовкой ряда практических литературных проблем.

Многие годы умалчивая о важнейших принципиальных моментах - об обязательности в литературе конфликтов, о надобности освещения отрицательных сторон нашей жизни, о необходимости сатиры и др., - некоторые критики так ретиво заговорили теперь об этих вопросах, словно впервые открыли их. На самом же деле всё это откровения давностью в тысячи лет.

Их, кстати, и у нас никто не оспаривал, а только ханжи старались искоренять. Они не понимали, что литература без составных своих элементов - это бесколёсная телега или лошадь без ног. XIX съезд надоумил этих людей. Тогда они повернули на 180 градусов сразу и своими рассуждениями о "положительном" и "отрицательном" стали вносить смуту в умы. А литераторы с нехваткой психической сопротивляемости бросились, в свою очередь, "вносить отрицательное" в романы и повести. Один литератор на собрании в клубе даже взмолился: "Товарищи, что же мне делать теперь, если у меня подготовлена рукопись об одном положительном?" Ему отвечали, что надо-де искать пропорцию между тем и другим. О "пропорции", "правильном сочетании", об "элементах" повели речь и статьи...

Но ведь всё это неправильно! XIX съезд предложил литераторам создавать яркие художественные образы, создавать типическое в произведениях. Это значит, что они должны содержать цвета, краски и красоту, а не элементы положительного и отрицательного.

Нужно ценить нынешние усилия критиков преодолеть застой мысли некоторых редакторов и издателей. Можно даже согласиться позабыть, что сознание этих людей критика сама же в своё время обузила. Так что энергия критики в этом вопросе полезна. Но партия ждет от писателей не шарахания, а правды в литературе.

Разумеется, у нас много ещё отрицательного как в быту, так и в самом человеке. Эти последние скверности особенно сложны, упорны и длительны.

Материальные условия жизни мы уже в два-три года заметно улучшим, но от них не ведёт прямая черта к душе человека. Если один сосед получит квартиру вслед за другим, то зависть может улечься, но вот лживость, к примеру, не исчезнет с приобретением комнат.

А что такое перестраховка? Это, по меньшей мере, целых десять пороков. Тут эгоизм, трусость, слепой практицизм, безидейность и прочее, включая и подлость. Ясно, что изживание этих пороков потребует куда больше усилий и времени, чем, скажем, ликвидация бескоровности или нехватки товаров.

Эти пороки, которые партия призывает нас бичевать, нужно, выражаясь по-чеховски, *"взять усилиями целого поколения"*, а может быть, не одного поколения писателей. Но ни бытовые недостатки, ни людские пороки не могут быть "элементами" пьесы или романа. И их нельзя "уравновешивать" другими "элементами" - зажиточностью, трудолюбием, добротой, оптимизмом и прочим. Художественное произведение должно быть органическим, а не составленным из положительного и отрицательного.

Особенно много путаницы своими рассуждениями о положительном и об отрицательном внесли театральные критики. Они писали вещи, противоречащие здравому рассудку читателя. Например, когда длительно обсуждалось, могут ли в пьесе быть отрицательные герои без положительных, то невольно возникали четыре трезвых контрвопроса:

- а) Если отрицательные сами выявляют свою отрицательность, то к чему же на сцене торчать положительным?
- б) Зачем задаваться вопросом, на который Гоголь своим "Ревизором" и "Театральным разъездом" ответил более ста лет назад?
- в) Зачем пытаться выводить какую-то среднюю там, где не может быть средней?
- г) Зачем отбрасывать нас от литературных вопросов... к арифметическим?

Если у нас марксистско-ленинское восприятие жизни, если есть у нас здравый смысл, чутьё, верный глаз, то мы можем и будем писать обо всём, не впадая ни в чёрный, ни в розовый цвет. Писатель сам знает соотношение плохого и хорошего в жизни, и рассуждения о нормах того и другого ему не нужны. А автор, пытающийся визнавать эти нормы, применяясь к нелепо-рецептурным указаниям критиков-схоластов, - вообще не писатель. Не стоят уважения люди, вводящие сейчас в свои книги "элемент отрицательного". Можно, конечно, найти равновесие между "лакировкой действительности" и "мрачной картиной", но самый поиск, самый расчёт обрекают произведение на нехудожественность. Под таким углом зрения оно может составляться, но не писаться, ибо это не угол зрения искусства. Отсчитывая в романе треть, половину и четверть, писатель не даст художественную его сердцевину.

Писатель сам может и должен проверить, не обойдены ли в его книге затаённые скверности жизни, не смягчает ли она пороки и болезненные явления, имеющие распространение в обществе, даёт ли яркие, воодушевляющие образы советских людей, пример которых способен окрылить и поднять.

Надо дать рукопись людям, которым нехорошо, которых нелегко сделать счастливыми. Если книга несколько не поднимет их дух, не прибавит силы для жизни, не улучшит их работу на коммунизм, - то в ней порок органический и её надо снова писать.

Когда же она этот искус пройдёт, надо дать её самодовольным. И если не окажется в ней ничего, что вывело бы их из счастливой уверенности, будто всё и всюду уже хорошо, - значит, книга ещё не дописана.

После того как выдержит она и вторую проверку, её нужно ещё подвергнуть и третьей - ходить с нею мимо домов с мемориальными досками, где жили, творили и думали люди, без которых литература была бы беднее. Если писатель при этом ни над чем не задумается, не почувствует горечи о чём-то не сделанном, - он вообще не писатель и ему надо искать себе другую прогрессию. Если же, оценив свою рукопись этой высшей меркой, писатель не почувствует к ней большой неприязни, - значит, она будет людям нужна, её можно нести издавать.

ОБЪЕКТЫ И ЛЮДИ

Литераторы почти обо всём уже переспорили. О своих героях, о роли характеров, о создании типов, о жанрах, о десятках предметов. Спрашивается: нужно ли нашим литературоведам и критикам так бесконечно себя повторять? Да, иногда это бывает и нужно. Кажущиеся старыми вопросы искусства и творчества могут вновь вставать и опять волновать в другой обстановке, приобретать в изменившихся условиях жизни новое качество.

Это так. Но не пора ли, товарищи, перейти уже и к новым проблемам? Почти четверть века критики возвращают нас всё к тому же кругу вопросов, не замечая, что многие споры их стали давно схоластическими, навязли в зубах, что литература нуждается в подсказе новых путей, ибо мы вступили в новую полосу жизни.

На мой взгляд, первая задача критической мысли сегодня - навести литераторов на расширение тем, на изменение трактовки проблем. Это главное, ибо читателю надо черпать новое из литературы.

Мне кажется, что очерки Овечкина имеют значение, какого он не подозревает и сам. Эти очерки показали нам, как беспредельны границы искусства, как может и должна быть введена в литературу огромная проблематика нашей хозяйственной жизни. Каждый писатель, продумав эту незначительную по объёму книжку, убедится, что в нашей жизни пет прозаического, что множество неосвещённых сторон её может стать настоящим художеством.

Недостатки в хозяйственной области, путающие чувства тысяч людей и порождающие много идей, оказались не менее благодарной и не менее волнующей темой, чем "извечнейшие" литературные темы! И, главное, великопроблемной. Писатель, открывший подобную жилу, - пионер, зачинатель. Критики быются над проблемой о том, каким должен быть конфликт в наших условиях, если нет кулака или нерадивого председателя правления артели; пришёл подлинный художник и вытащил этих конфликтов целую пригоршню - пожалуйста, черпайте! Ещё вернее: взгляните, и вы сами увидите. Ведь коренного зла у нас нет, так сумеете увидеть большое зло в маленьком не всесветном разладе, сумеете подсмотреть великое зло раздвоения чувств комбайнера, который, с одной стороны заинтересован в уборке редких хлебов, а с другой - в высоком урожае хлебов. Вот какое ещё у нас разнообразие зол и проблем! Вечером того дня, когда кусок "Районных будней" был напечатан в "Правде", инженер-металлург рассказал мне, что он читал этот очерк с таким интересом, будто речь шла о заводе, ибо на заводе десятки сходных конфликтов.

Критика должна заняться проблемой освещения быта в литературе. Она очень сложна.

Один немец как-то сказал мне: "Ваша литература очень содержательна, очень значительна, но в ней нет уюта". Действительно, из литературы ушли оседлость, домашность. Но разве могли они быть в книгах о стройках и войнах! Мы не сидели тогда за чайным столом, не опускались в мягкие кресла. Литература была суровой, как жизнь, и другой нам не требовалось.

"Детство Багрова-внука" протекало в бытовой раме, а наша жизнь шла почти что вне быта. Сколько дней проводили мы в командировках, вне дома! Сколько раз менялся наш дом! Сколько лет мы воевали! Эта жизнь и была нашим бытом, и мы не хотели другого. Мы задохнулись бы в спальнях и на лужайках, мы бы не потерпели себя.

Теперь мы построили много домов с ванными комнатами и холодильниками, мы объявили войну жилищной нужде и нехваткам всякого рода, мы будем во стократ больше заботиться о человеке. Дома при заводе должны строиться вместе с заводом, в любом городке должно всё продаваться. Да, так и нужно. Да, мы будем жить хорошо. И всё-таки... всё-таки, борясь за благоустроенный быт, нам надо оставаться **над** бытом.

До сих пор в наших романах мало говорилось о том, что занимало людей в личной жизни. Но это не значит, что отныне надо подробно описывать, кто как питается. Наш герой в быт никогда не уйдёт, бытом не поглотится. Важное дело критики - научить нас бороться за налаженный быт, с тем чтобы читатель был ещё выше поднят над бытом.

В одном из снов Веры Павловны Чернышевский так говорил ей о будущем: *"Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее всё, что можете перенести"*.

Я клоню этой цитатой не к теме фантастического романа. Любопытно и полезно бы почитать, какой будет жизнь при коммунизме, - такое описание может даже оказаться пророческим, - но не это самое важное. Жюль Верн оказался пророком, а Бальзак не пророчествовал, но Бальзак нам важнее Жюль Верна. Оправдавшейся догадке фантаста мы можем дивиться - и только. Писателю же надо приближать коммунизм воспитанием людей для коммунизма, а для этого догадок не надо, ибо мы знаем заранее, каким должен быть человек.

Воспитывать людей - значит заниматься людьми. Вот почему полезно бы выяснить место, какое занимают в нашей литературе события и описания. Не занимают ли они иногда это место за счёт человека - сверх того, какое нужно бывает для освещения роли человека в событии и влияния события на человека?

Толстой подробно описал Бородинскую битву. Но это описание не было у него самоцелью. Если же высчитать количество строк, посвященных в романе Э. Казакевича "Весна на Одере" движению и действиям всех родов войск, то окажется, что о людях говорится лишь в трети романа. Потому, на мой взгляд, роман этот плох, сколько бы ни было в нём отдельных достоинств. Непомерно велико описание фактов и в романе М. Бубеннова "Белая берёза". Не потому ли, что мы ещё неверно понимаем значение романов как "документов эпохи"? Ведь художественные документы должны чем-то отличаться от подлинных документов истории, не должны переписывать их. Роман вовсе не призван описывать ни технику войны, ни заводскую, ни события как таковые. Роману не следует подменять исторические, военные, технические и прочие данные. Художественное произведение должно, как известно, отображать переживания, дела и чувства людей. Только этому подчиняются, только для этого вводятся события, пейзажи и факты. "Документ эпохи" не должен её документировать. Из него мы хотим не документы вычитывать, а **душу** эпохи.

Отечественная война и стройки заводов ни в каком случае не должны уйти из литературы. Но они будут волновать нас в том случае, если перестанут быть темой самой по себе, а станут местом жизни и действия для человека.

Как бы ни было сильно искушение задержаться на определённом событии, но если оно мало

даёт для освещения роли героя, то должно быть беспощадно отброшено. Иные книги отягощены, перегружены материалом предметным. Им нужно больше мыслей, переживаний и меньше предметов. Воспитывают мысли, идеи, а не вещи, не справки.

То обстоятельство, что события в книге преобладают над человеком, подавляют и теснят человека, служит одной из причин её кратковременной жизни. События сменяются новыми, и потому устаревают книги и пьесы, занимавшиеся их описанием.

У нас говорят: "написал производственный роман", "выпустил роман о торговле", "сделал пьесу об Америке". Иначе говоря, пишут не о людях, а о событиях, - люди служат только умышленным воплощением заранее намечаемой программы показа событий. Ясно, что никакого интимного ощущения жизни такие вещи не могут давать, что любое изменение в данной стране или данной хозяйственной области выбрасывает подобные романы и пьесы из жизни, даже если инерция критики или собственные усилия авторов продолжают поддерживать их на воде.

Можно и нужно делать романы такими, чтобы они были и злободневными и нестареющими, то есть всегда злободневными. Постоянные разглагольствования о том, что-де наша жизнь слишком стремительна, что трудно за нею поспевать, что вещи стареют ещё в процессе писания, - это свидетельство творческого бессилия авторов, повторяющих неубедительные и надоевшие доводы.

Да, жизнь стремительна. Но не она виновата перед нами, а мы перед нею. Ибо мы пытаемся гнаться за временем, вместо того чтобы его обгонять. Мы поглощаемся сегодняшним днём и не думаем о завтрашнем. Нас подавляют события, и мы не видим цепи событий. При таком положении совершенно естественно, что утро может покорёжить всё то, что было нами ночью написано, и мы никогда не кончим роман (недаром на счету большинства наших писателей только от одной до трёх книг!) или выпустим книгу-рахитика.

Конечно, для большой литературы нужны в первую голову большие писатели. Но совсем не надо быть гениальным, чтобы не оказываться вечно беспомощным. Для этого нужно лишь элементарное самоопределение автора. Он просто не должен ставить себя в положение, при котором каждое свежее сообщение радио вызывало бы тревогу, как ему теперь быть. Если роман при этом "ломается" или "летит", то он не был романом. Когда у писателя есть прочность идейных привязанностей, то его роман застрахован во времени. Наоборот, осуждены книга, привязанные к мелким событиям дня слишком крепко, чтобы пережить этот день. Вечно лишь актуальное, но актуальность - это не ходкость. Подлинная актуальность не выдыхается годы.

В Советской стране меняются и будут меняться задачи дня, а не перспектива. Как бы стремительно мы ни продвигались вперёд, эта перспектива была и остаётся известной. Поэтому сегодняшний день мы всегда без опаски можем делать литературой. Мы не историки, и нам незачем ждать, пока сегодня отодвинется в прошлое, отстоится во времени. Но писать-то надо об участии человека в больших развивающихся событиях времени, под устойчивым углом зрения именно на эти события, как и на события личной жизни людей, а не на обстоятельства дня. Тогда мы не только не будем в хвосте у событий, но ещё предугадаем последующие, подскажем свежие мысли, пробьём дорогу новым суждениям и сделаем нашу книгу надолго. Поясню на примере.

В глубинном районе писался полурассказ-полуочерк о жизни колхоза-миллионера. Он писался неверно, ибо вещи заслоняли в нём человека. Очеркист ходил по деревне, интересовался сыроварней, выспрашивал, как создавались теплицы, восторгался таблицей роста доходов. Попутно он записывал фамилии бригадиров и награжденных стахановцев... Очерк был напечатан и, конечно, тут же забыт. Прошло много времени, появился теперь новый закон о сельхозналоге. Очеркист вытащил из архива свой старый дневник. Вот записи

в нём:

"Как же это понять: колхоз богат, выдачи на трудодни неплохие, а у моей хозяйки - ни коровы, ни сада, только картошка да огурцы..."

"Неслыханно! Оказывается, вишнёвые деревья она сама уничтожила! Объяснила мне это так: когда урожай - вишня ничего тут не стоит, а когда нет урожая - налог с каждого дерева всё равно надо платить. Вот я их и порубала. Тут многие так".

"Эта семья существует только колхозом, как во многих бедных колхозах люди живут только своими участками. А тут благословляют колхоз, ориентируются лишь на него. У моей хозяйки 205 трудодней. Это немало для безмужней с тремя детьми, из которых старшей пятнадцать. В то же время... чтобы высвободить эту старшую, женщина должна была лишиться... коровы. У колхоза выпасы маленькие, их хватает только для фермы. Лесничий разрешил моей хозяйке пасти корову в лесу, с тем чтобы старшая девочка помогала ему на посадках. Таким образом, одна работала, чтобы другая пасла, а третий, четырёхлетний ребёнок, оставался один, без присмотра. Понятно, что это долго не могло продолжаться... Покупать корма на базаре, где за пуд сена надо было платить двадцать рублей, не позволил налог. Корова была сведена на базар. Вот какие у нас ещё противоречия в жизни!"

Читая теперь свои записи, очеркист увидел, как ложно он понимал злободневность. Он писал не о судьбах колхозников, а о вещах и предметах в колхозе. На достижения и ошибки колхоза не посмотрел глазами колхозника. Исходил не из перспективы развития, а из мелких событий, заслонивших перспективу и мысли. Пиши он не о сыроварне, а о человеке, то и сыроварня бы никуда не девалась и рассказ бы жил до сих пор, стал бы актуальным на годы.

Партия ставит человека в центр внимания. О человеке и должны писаться романы, пьесы, стихи.

Сколько конфликтов и тем! Так и хочется внести в литературу то одно, то другое.

Вот что пришлось услышать в недавней поездке.

От инженера:

Видите, чем мне приходится заниматься после работы! Натаскиваю сорок вёдер воды для огорода... Зачем он мне? Но жена не может бегать каждый день на базар. Ведь это пять километров! На наш заводской магазин тоже нельзя быть в претензии: ему приходится торговать и карандашами, и пивом, и картошкой, и нитками. В нём есть будто бы всё, а когда надо, то нет ничего. В клуб зайдёшь - тоже пусто. Новый фильм привозить к нам невыгодно, потому что его весь посёлок посмотрит в первый же вечер, а во второй уже не будет ни одного посетителя. Поэтому не привозят совсем... В театре был с женой два года назад - не хочется шагать после спектакля по полям и по кочкам... Вот так и живём! Дома наши, как видите, построены со всеми удобствами, а жизнь получается, как выразилась недавно одна заводская работница, "насквозь неудобная"...

В таком положении семь заводов, семь больших коллективов, семь посёлков, каждый из которых выстроен на отшибе от прочих. А в городе, где жило и живёт тридцать тысяч людей, где есть зелень, хорошие улицы, дороги в колхозы, нормальная жизнь, - там не только не строили все эти годы новых домов, но развалились и старые... Спрашивается: для чего мы разобщены, почему гибнет старинный и благоустроенный город, а на пустырях создан комфорт с неудобствами?

Вы почувствуйте это: у меня ванная комната, пылесос, холодильник, но выгляну из окна - голая степь. Податься мне из ванной комнаты некуда. А за пять километров - городской сад, музыка, базар, заваленный фруктами, покосившиеся стены домишек и... очередь в баню.

От своевольного человека:

Вы спрашиваете, чего меня таскал прокурор? А шут его знает! Слава богу, теперь отвязался.

Началось всё с того, понимаете, что отправили меня в колхоз на уборку. Я ведь слесарь райпромкомбината, и райком порешил, что нужно партийное наблюдение за комбайном и тракторами. И действительно, оказалось, что нужно, но только в другом совсем смысле...

Я увидел однажды, как комбайн пёр на ячмень, а ячмень, как вы знаете, - растение низкое, да ещё перезрел, ну и, конечно, комбайн всё зерно повытрясал в полосу, всё сразу смял. Я, понятное дело, не выдержал, обратился к колхозницам.

"Товарищи, - говорю, - неужели вашему сердцу не больно смотреть, как хлеб погибает?"

А они отвечают: "Как не болеть при таком безобразии! Это председателю нашему надо перед районом сводкой о загрузке комбайна блеснуть, а мы-то хорошо понимаем, что комбайн к такому ячменю нельзя подпускать. Только что ж нам его подменять? Кабы нам за это килограмма по два от центнера дали, тогда дело другое. Тогда бы мы эти двадцать гектаров так скосили, что и зёрнышко бы не пропало. Были бы одно к одному".

Ну я, конечно, с ними торговаться не стал. Остановил комбайн, спас шестнадцать гектаров. И ровно через день меня - на бюро. За своеволие, за поощрение рваческих настроений отсталой части колхозников, а главное - за недооценку комбайна. В тот момент другие колхозы комбайны плохо использовали, и надо было ударить по мне для профилактики. Не скажу, чтобы райком хотел меня съесть, а важно было напечатать в газете, что, мол, дело о виновном в простое комбайна передано в прокуратуру. Ну, прокурору, конечно, пришлось допросить меня, как полагается, взять подписку о невыезде и всякое прочее.

Проходит полтора месяца, выпал снежок, и в районе у нас боевая тревога - под снегом осталась картошка! Велят мне забрать других слесарей мастерской, подкидывают ещё четырёх машинисток и - дуй, убирай.

Мы едем в колхоз, а колхозницы едут той же дорогой навстречу, к нам на базар...

Ну, ладно. Начали мы копать, копаем сутки, вторые, а посмотришь, что накопили, - одна чепуха. Машинистки мои ещё засветло валяются, не могут спины разогнуть, а утрами два часа поднимаются. Вижу я - так дело не выйдет, пропадёт вся картошка. Не могу это выдержать. Собираю колхозниц, делаю им предложение: чтобы каждый шестой мешок накопили себе и чтобы через неделю в земле ничего не осталось. И что же вы думаете? Копали таким перепланным темпом, что на пятые сутки я уже снимал замок со своей мастерской.

И что после того? После того меня опять на райком. Одни секретарь говорит, что внесение чуждых методов в колхозное дело, а другой - за меня. А приезжий обкомовец слушал, слушал и говорит им: "Я, товарищи, не понимаю: тот ли виноват, кто неправильным методом спас весь картофель, или те, кто правильным методом оставили картошку под снегом".

Я тогда обкомовцу и говорю: "Я и вообще-то неправильный, я уголовный, с меня подписка о невыезде взята".

Прокурор покраснел. "Что вы, что вы, я ваше дело давно прекратил". И на другой же день вызвал для официального уведомления.

Вот как бывает ещё иной раз!..

От нарсуды:

Говорят, что судья подчиняется только закону. Да, это так. Но иногда это, к сожалению, так. Иногда жизнь разноречит с законом, закон делается препоной правильному устройству жизни. Тогда кто-то страдает, и заодно - моя совесть.

Я рассматривал дело об обмене жилплощади. Учитель с семьей в шесть человек жил на девятнадцати метрах... Старичок-пенсионер со своей старушкой занимал две смежные комнаты в сорок два метра... Они хотели между собой поменяться. Казалось бы, такое желание

можно только приветствовать. Оно отвечало логике, здравому смыслу и духу нашей жилищной политики. Но, увы, оно не отвечало формуле о *"неравноценности площади, заставляющей подозревать переуступку из корысти"*...

Да, вполне вероятно, что учитель, в семье которого работали трос и хорош был достаток, что-то приплачивал старичкам за излишек. Такие предположения в делах об обмене всегда возникают, но никто никогда не может их доказать. Но разве они важны и решающи?!

Важной и существенной была в данном случае достигавшаяся обменом справедливость распределения площади. В самом деле: зачем старичкам сорок два метра, которые им трудно прибирать и оплачивать?! И каково живётся семье, где одна дочь привела к себе за занавесочку мужа, вторая - студентка музтехникума - должна звучно готовить уроки, глава семьи проверяет вечерами тетради, его семидесятилетняя мать прикована болезнью к кровати, а зять чертит до двух часов ночи...

Разве могли быть какие-нибудь сомнения в том, что коммунальный отдел обязан был сейчас же разрешить этот обмен, отнюдь не доводя спор до суда! При разбирательстве дела в зале сидело человек сорок народа, и их настрояние, их сочувствие было столь же недвусмысленно ясным, как и моё.

Но представитель горсовета настаивал на отказе в обмене. Он изобличал в истцах спекулянтов жилплощадью. Он был равнодушен к тому, что один из "спекулянтов" проработал 37 лет на железной дороге, а второй четверть века учительствует. Представитель горсовета ссылаясь на пресловутую "неравноценность жилплощади", хотя не мог не понимать, что равноценные площади никому вовсе и не нужно менять... Он опирался на свои крепкие запретные правила, не желая увидеть, что по сути своей они давно уже устарели.

В самом деле - кому нужны недовольство и муки учителя? Кому нужно, чтобы старичок оставался в двух комнатах, кстати, не изолированных и не подлежащих изъятию? Кому нужно, чтобы учителю или зятю его государство должно было предоставить со временем жильё в новостройке за счёт других, тоже тесно живущих людей? Ведь всё это ни с чем не сообразно, нелепо...

И вот я ушёл в совещательную. Оба нарзаседателя стояли за безоговорочное удовлетворение иска, а я... я думал о кассационной коллегии, о возможных подозрениях в пристрастии, о столкновении с районными властями, о десятках вещей, связанных с "незаконным" решением. И, решившись в данном случае благоустроить жизнь советских людей, вместо того чтобы ей помешать, я чувствовал себя смельчаком и героем.

И как часто приходится мне по различным делам геройствовать там, где я выполняю лишь веления совести! Посидите у нас в зале недельку - и вы убедитесь.

Таких рассказов жизнь даёт в сотни раз больше, чем издательство "Советский писатель". Можно придирчиво их отбирать, и всё-таки будет обилие выбора. В нашей богатой содержанием жизни таится много конфликтов и тем. И если они ещё не отражаются в литературе, то виноваты в этом писатели, пишущие об объектах, а не о людях. У людей жизнь несходна, разнообразна делами и мыслями.

Поднять подлинную тематику жизни, ввести в романы конфликты, занимающие людей в личном быту, - значит многократно увеличить воздействие литературы на жизнь.

Мне кажется, что сегодня ещё не все наши книги участвуют в изменении жизни... Разумеется, книга не машина, действие которой наглядно. Влияние книг постепенно, подспудно, и проследить его нелегко, Но не невозможно. Если бы комиссия критики по продуманной и непредвзятой программе изучила влияние книг на разные возрасты и слои населения, мы извлекли бы немало неожиданных и поучительных выводов. Мы увидели бы, что тиражи иных книг не всегда пропорциональны мере влияния книги на человека, что и в очень

известных, очень распространённых романах человеку часто "нехватает чего-то". Докапываясь, доискиваясь, мы установим, что нехватает ему подлинного, не книжного конфликта.

Книжный числится, но не существует или, существуя, не трогает. Книжный где-то умозрительно стелется, подлинный - дома, в колхозе, на службе. А вот введите в роман этот настоящий конфликт, проследите, как преломляются через него психологии, как формирует он или раскрывает характеры, - и житейское окажется жизненным, прозаическое опоэтизируется, книга взволнует, мысль читателя быстро задвигается, у него появится жажда активности.

Обогащение тематики кажется мне самой надобной из надобностей литературы.